

Пьеса

Ручей, впадающий в прохладный узкий пруд,
хвощи, вьюнки в подслеповатой чаще,
косящий берег, стебелек торчащий, —
когда вы развернулись на восток?
Я не заметила, как длинный день истек
и вытек в океан, еще горчащий.

Вы, папоротники, вы, хвощи и пни,
заждавшиеся моего прихода.
Как долго были без меня, одни!
Но вот я здесь, и стали вы: «природа»,
и тянется счастливая подвода,
и я гляжу на вас, несчитанные дни.

Как долго длится третий акт! — и тут
не твердь перевернется кверху днищем
— блеснет и треснет, дуб исторгнет «Брут!»,
грозою рассечен до корневища...
Запаздывая, гром приводит тыщи,
но главные герои все умрут.

И я гляжу, но больше не дивлюсь.
На озере наемни птицы дрались.
Я тоже прячусь и к тебе клонюсь,
осока узкогрудая vulgaris.
И на меня те хляби низвергались.
День удлиняется, я с тенью удлинюсь.

Все в униформе, гуси полетят —
я поднимусь за четкими полками,
с такими же, как лапки, сапогами,
или рябиной — встану в четный ряд,
— рябиною, с плодами невпопад —
и погребу неловкими руками.

ЛУННАЯ НОЧЬ

Меня со всеми унесло.
Песок блестел, как в день творенья.
Сияло слово, как число,
в случайной тьме стихотворенья.

Но я все там же, среди глыб,
на влажной, темной кромке зренья,
и различаю пенье рыб,
их неусыпное паренье.

Во тьме мелькают плавники
на размыкающемся своде,
и догорают маяки
и разговоры о свободе,

и тьма, переутомлена
сознанием, не молвит звуки,
но ювенильная луна
сама плывет в пустые руки.

1989

словарь

Андрею Селиванову

Бежит речка, как живая,
избегая общих мест,
Г'оспода не называя,
крутит лист и камень ест.
Все, что знаем о свободе, —
из чужого словаря:
да скажи хоть о погоде,
но с другим не говоря.
Что — свобода? Ну, свобода.
Пустота со всех сторон.
Мой глагол — другого рода,
оттого протяжней он.
(К этой строчке примечанье —
на окраине листа:
чем длиннее окончанье,
тем пустынное места.)
Друг далекий, Селиванский!
Только воздух надо мной.
Слева берег пенсильванский,
справа берег — как родной.
Для того нужна граница,
для того я тут стою.
Вот летит большая птица,
я ее не узнаю.

без имени. перед рассветом

Птичка стеклянная

Птичка с поцарапанным горлом

Птичка, пытающаяся рассказать всё

Птичка, обращающаяся на зов

Птичка, подающая надежды

Птичка Увы

Птичка, которую приходится включать погромче

Птичка, печатающая на машинке

Птичка, чиркающая о коробочку —

х х х

Не сумев на чужом — не умею сказать на родном.
Эти брызги в окно, эта музыка вся об одном.
Я ныряю, хоть знаю, что там ничего не растет —
разве дождь просочится
да поезд внезапный пройдет.

Разве дождик пройдет по карнизам,
как в фильме немой,
по музейному миру, где вещи лежат — по одной.
Только это — да насыпь
с травой горячей, густой
мы на дно унесем: нам знаком ее цвет городской.

Потому что, сказать не сумев,
мы уже не сумеем молчать.
Солнце речи родимой зайдет —
мы подкидыша
станем качать.

1992

Нью-Йорк

блюз пешего хода

из гаражей выезжают машины
спереди важно садятся мужчины
(но иногда — и дамы)

правую ногу согнув в колене —
все буквально, даже тюлени,
втискиваются — и выезжают из гаражей

это неважный, как все, но пылкий,
хмурый такой городок, и жалко
утром его покидать

я оглядываюсь на знаки
СТОП
— и мимо иду; собаки
спят, или думают

это сулящее вечер утро,
как разворачивающаяся сутра:
прохладно, чисто

это райская жизнь, и значит,
все мы в раю, вот и птичка плачет
в дереве красном

ОКОННАЯ ПЕСНЯ

По стеклу поезда
налево вниз
ползла капелька

встретила капельку
и
съела капельку

и еще и еще капельку...
Много капелек
съела капелька

пассаик

А. Межирову

В полседьмого навеки стемнеет.
Я вернусь в городок никакой.
Пусть он взвояет, пускай озвереет
мотоцикл за Пассаик-рекой.

От платформы до серой парковки
— как пойду в темноте, пустоте?
По реке города, как спиртовки,
и над ними Ничто в высоте.

Никого моя жизнь не спасает.
Светофоры горят из кустов.
Это тихое слово *Пассаик*
пострашнее татарских костров.

Вы рубились на темной Каяле —
нам темнее знакомы места:
тут машины весь день простояли
у восточного края моста.

Все же странно, что с этой горою
неподвижной — по небу лечу.
Я примерзшую дверцу открою
и холодное сердце включу.

песни унылой родины

Саше Сумеркину

I. романтическая

Летят ути
все в мазуте
на ноге пряжка
на душе тяжко

Летят сзади
такие дяди
что лучше право
лететь прямо

А их дружочки
вон там на лужочке
не рвут цветочки —
несут платочки

На север люди
на запад люди
как мелкий-мелкий
узор на блюде

И то правда
не то храбро —
лететь быстро
а то храбро —

лететь низко

2. у забора

Тут не Рубцов — так Рахманинов.
Да объясни ты толково,
что ты гудишь, ну чего тебе —
ветра, что ль, свиста какого.

Солнце садится холодное.
Гаснет листва бореальная.
Свет зажигает в деревне
жизнь, от начала печальная.

Слева несут декорацию,
справа снимают убранство.
Жизнь, от начала печальная,
не виноватит пространство.

3. песня покинутой родины

а над невой заря еще нежней
чем зеленой зимой при брежнев

пешеход к метро а за ним колун
а в столице другой во палатах каплун

хочешь — дуй на него
хочешь — режь его
ничего нет страшней счастья прежнего

4. сага

1-й подъезд:

Челюкановы, Пряхины, близнецы Овсянниковы, земледельцы Китайкины, все уменьшающаяся баба Дора, Лена Кузнецова, Юра Панфилов с матерью, Галёмины на втором, их родители на третьем.

2-й подъезд:

хозяйственные Съомко, хулиган Блудов Олег с матерью и бабкой, тетя Зоя из «Спортпроката» с дядей Алешей, Юля и Андрюша Шевченко, Коля, мы, Ядвига Густавовна, безумные Рутковские, Лошкаревы, Сироткины Наташа и Витя, тетя Соня с точно такой же сестрой, Дзуенки.

песня о дорожном подстаканнике

Александру Сумеркину, с любовью

А вот — советский подстаканник,
такой серебряный, такой
с венком тяжелым многогранник,
с лозой медлительный Джанкой.

Всю ночь, в купе, не зная тренья,
он тихо ехал и дрожал,
и в синем свете звякал, тренькал,
а вот теперь — подорожал.

На нем так выпуклы и гладки
узоры страшного литья,
что сразу вспомнишь эти грядки —
чего же улыбаюсь я?

Ах, милый Сашенька, мы тоже
со временами не в ладах,
с угрюмой нежностью под кожей
анахронического «ах».

Из времени любого выпасть
легко тому, кто налегке.
И вот стоишь, как гордый витязь,
но с подстаканником в руке.

Как будто бы из верхних ванных —
из будущего натекло.
Но в наших дружбах антикварных,
как в складках времени, тепло.

Меня забыл амфирный город
с державным золотом в реке,
татуировками исколот
на полустертом языке.

Но каменного истукана,
как прежде, я не признаю.
Как подстаканник без стакана,
чужому миру предстаю,

как разлетевшийся посланник
— ах! — шлепнулся перед пашой,
как сей нелепый подстаканник,
но только с женскою душой.

пора вернуться к самому началу...

Пора вернуться к самому началу,
как в хорошо заверченном романе.
Пора вернуться к самому началу,
войти и встать надолго в хвост вагона,
и, сумку привалив к опасной двери,
покачиваясь, долго нависать
над Схемой Линий Метрополитена.

Мне нравятся названия этих станций:
вот Семьдесят седьмая улица, а вот
уже Сорок вторая, боже мой! —
как хороши неназванные вещи! —
так пальцы пробегут по позвонкам,
так дождь бежит себе, не называя,
смывая ложной схожести пыльцу.

В местах, где рифмы долго не живут, —
как хороши, как свежи повторенья.
И если померещится значенье
иль, боже упаси, какой-то тайный смысл —
смахни его, как рифму. Повторяясь,
скажу тебе опять: в повторях этих,
бессмысленных подобьях, возвращеньях
— нет ничего. Один лишь теплый свет
сквозного бормотанья.

...Когда-нибудь, на Пятой авеню
найди позеленевшую богиню
чего-то там. Скамеек, например.
Бродяга возлежит в ее тени.
Вся в ямочках она, в руке — газета
вчерашняя. Шутник — космополит:
вот-вот прочтешь советский заголовок.

Как эта осень пасмурна! Как нас
тревожат эти надписи на сваях!
Кошмарное бывает величаво,
особенно — когда глядишь с моста,
и вывеска багровая отеля
похожа на плакат «ЗА КОММУНИЗМ».
Я не увижу, как его снимают.

И я тебе еще скажу, схватясь
за поручень серебряный в десятках
блестящих отпечатков, близоруко
склонясь над вечной схемою метро
(как будто это карта звезд), скажу: зевака
не помнит, не накопит ничего.

Ни странствие, ни новое влечение, —
как капли — ласточке, как пальцы — позвонкам:
смешно, щекотно.
И я тебе еще скажу: никто,
похоже, что никто
на нас не смотрит сверху.

октябрь 1992
Нью-Йорк

2.

арктика

1977–1980-е

х х х

Опять серебряные змеи...

А. Фет

...Белого цвета рассыпанный свет.
Как развеваются ленты и гривы...
— В корку зимы нам впечатать змеиный
врезанный речкин улыбчивый рот,
за белой церковью крут поворот,
ждут нас на глине сухие извивы
счастья-несчастья, горячие гривы...
Шепот, скольжение, свистящий разбег
белого света рассыпанный след...

1978

на мотив 60-х

Арктика льды распаковывает
паковые, прикованные
к тундре,
весной искалеченные —
руки ли не воздеть:
да будет лето сие
писано по воде!

Талая-ла печаль!
Знаю лишь: даль, даль.

Даль моя, припорошенная
мелким снежком, к морошке
тянущаяся, как монастырь весной
— в летний лесной запой...

1979

Таволга
пеночкой вдоль болот.
За Волгой
пеночка запоеет,
таволгу
тальвегом оплетет...
Валкими
эхами вдоль болот —
лето ли?
солнце ль слепит и льет?
...лентами,
петлями заплетет...

Зеленью
взгляд по воде поплыл.
— Чудится
что-то из тинной мглы?
— Цедится
море во мрак рябой.
Сцеплены,
сплавлены мы с тобой.
Завтра ведь,
лето, нас разольешь,
за Волгой
пеночкой запоешь.
(Словно нырнешь — на дне найлок.
Так под слоем солнца — твой затылок.)